ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

К Р И Т И К А

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
№ 5(259) – 2018

"Пространство мира и провалы сна..."

Художественные приметы поэзии Владимира Скифа

Вячеслав ЛЮТЫЙ

В русской поэзии последних десятилетий с годами откристаллизовались несколько чрезвычайно важных примет, которые в той или иной степени свойственны, наверное, каждому поэту сегодняшнего дня.

Интеллектуализм, изнутри поедающий ткань стиха и практически отрицающий живую связь двух миров – реальности и человеческой души, – не в их числе. Рано или поздно он уйдёт из круга чтения и станет своего рода литературным дневником, интересным лишь немногим.

В противоположность ему, в поэзии обретёт чувство меры и ощущение постоянной новизны предметный мир: с одной стороны, ярко живописный, а с другой – показанный в тончайших нюансах изменяющейся природы.

Кроме того, с течением лет всё отчетливей становятся два, по существу, кардинальных взгляда на происходящее вокруг нас или бывшее когда-то прежде. С одним из них связано имя Николая Рубцова, со вторым – во многом загадочная фигура Юрия Кузнецова. Магнетизм этих поэтических вселенных огромен, а их влияние, очевидно, будет усиливаться. И, в конечном счёте, став определяющим отпечатком русского стиха, вернёт ему массового читателя, преодолев пагубную изоляцию отечественной музы от подрастающих поколений и быстро меняющейся действительности.

В этих обстоятельствах важно внимательно осмотреть литературный ландшафт, поскольку уже сейчас происходит неуклонный процесс "врастания" в поэтический обычай "образа мира по Рубцову" и "образа мира по Кузнецову". И наш взгляд непременно остановится на имени Владимира Скифа, парадоксально соединившего в своём творчестве эти две позиции.

Пройдя большой литературный путь от вполне типичной городской лирики до тончайших описаний сибирской природы, от альбомных стихотворений до проникновенных и в чём-то даже неземных любовных строк, Скиф интуитивно нашёл собственную художественную территорию, на которой надмирное соприкасается с реальным. Они постоянно сосуществуют без взаимного отрицания, без надменного визионерства автора. Как в древности – предмет отходит на второй план и появляется неведомое; затем вещь восстанавливает своё житейское значение, и человек продолжает привычную жизнь, полную забот и усилий.

Ничего подобного такому мировоззренческому распределению здешнего и запредельного не найти ни у Рубцова, ни у Кузнецова. Образно говоря, предшественники дали живописцу технику и форму кисти, а дальше художник творит сам, погружённый уже в другой мир, прислушиваясь уже к собственной душе.

Просвистела на небе игла,
Со звездой и душой наигралась,
И в стогу на закрайке села
Мировая игла затерялась.
Что её в этот стог занесло?
Кто ей дул в её чуткое ушко,
Чтоб упала она на село,
Где молчит даже ржавая вьюшка?
…Всё живое метнулось искать
В плотном сене иглу мировую,
Стали девки из стога таскать,
То пырей, то осоку сухую.
И явилась из стога игла,
Деревенскому люду мигнула.
И разбитые судьбы села

Стали шить, и деревня уснула.
Век уставший прилёг на кровать,
Приутихли печаль, укоризна.
А игла продолжала сновать
И сшивать лоскуты русской жизни.

Если Рубцов интуитивно предчувствовал тайну земного и небесного, а Кузнецов намечал её границы, то Владимир Скиф эту тайну "высветляет" и одомашнивает, вписывая человека в некий общий миропорядок как звено совсем не ничтожное по сравнению с грандиозным космосом, но отдельное и в чём-то ключевое. Именно поэтому столь часто появляется в стихотворениях Скифа Ангел (Белый Ангел) – печальный или отрешённый, осыпающий на мир снежную крошку. Всякий раз с ним связана грусть Неба о русской земле и слеза о русском человеке. Однако тут не только жалость к страдальцу, а сокрушение о том, что, униженный и оскорблённый, он не понимает Божьего высокого задания, и в результате чёрные беды изнуряют его душу и тело: "Мы пронизаны русской незримою нитью – / И народный герой и упрямый изгой...".

Одновременно у Скифа можно найти строки, в которых загадки бытия совсем просты и, кажется, неизъяснимы.

Смотрю – звезда шагает по воде,
В просторах – степь
сама себя теряет.
Спрошу Россию: – Родина, ты где?
В ответ лягушка
в тёмный пруд ныряет.

Рядом с серьёзной думой появляется стихотворение лёгкое, даже бытовое или очевидно житейское. Оно родилось только оттого, что язык поэта чувствует волшебную свободу родной речи. Но в совокупном портрете автора это даёт ощущение художника, для которого не существует дистанции по отношению к читателю. Хотя в некий момент в таком "доверительном" поэте будто просыпается острое зрение – и он видит мир за горизонтом, а его отвлечённый ум мгновенно связывает небо и землю в единое пространство, где идёт противоборство Добра и зла, Света и тьмы, горькой слезы – и злого смеха...

Мчал скакун по тернистой дороге,
Звёзды неба из скал высекал.
Синей тьмой покрывались отроги,
И в долину закат протекал.
Мчал скакун
сумасшедший, как ветер,
В его взоре клубилась тоска,
Звал скакун из далёких столетий,
Из небесных полей – седока.

Но молчали селенья в долине,
В небесах леденела луна…
И сошлись на последней вершине
Свет заката и путь скакуна.

Здесь не найти обыденной предметности и ясного понимания коллизий. Эти строки – замечательный пример точно не выговариваемой тревоги, потому что не всё человек

знает про себя, про судьбы земли. И стихи определённо сближаются с музыкой, где принципиально нет узнаваемых реалий, но присутствуют тени и отражения действительности.

Тем не менее, у Скифа реальность привлекательнее, чем явления тонкого мира, которые вдруг возникают рядом с людьми и, как правило, что-то исправляют в нашем бытовании. Теплота земного для него – будто колыбель для ребёнка, без которой никакое жизнеустройство невозможно.

Янтарным светом осеняет осень
Пространство мира и провалы сна.

Он любит "здоровье" русского уклада, радующее глаз богатство природы. Ему нравятся открытые лица, грубоватая шутка, телесная женская красота. В русской поэзии сюжет рыночного изобилия почти традиционен. Скиф с нескрываемым удовольствием описывает прилавки с сочными дарами земли и, рядом, – лица и характеры селян. Кажется, что в этом поэтическом рассказе наиболее важными для него являются люди – приветливые, остроумные, участливые и неунывающие: *"А дед хомутовский расскажет дотошно, / Как лук и чеснок убивают недуг"; "Сидят и стоят у коробок старушки, / А в банках и гриб, и огурчик тугой"; "Старушки, старушки пестры, как кукушки, / На рынке у крынок стоят с молоком"; "Такого не знает, наверно, Европа, / Поскольку не видит таких стариков".*

Точно так же в "Русской бане" нагота парящихся молодых женщин наивно привлекательна и совершенно лишена той пошлости, к которой телевидение стремится приучить страну и, во многом, уже приобщило большие города. Поэтому очень понятен знак в заключительных строках стихотворения об осеннем возвращении в городскую квартиру:

Нет печальней мига.
В окне белеет, как свеча,
Забытая на даче книга
Про смерть Ивана Ильича.

Вообще, у Скифа образ города обычно холоден и жесток. Там почти нет естественного притяжения людей, которое ещё поддерживается в деревнях, где каждый знает наперечёт ближайших и дальних соседей.

На городской свалке в картонных коробках ютятся отверженные – *"бомжиха бездомная – бывшая Варька-уборщица, / Упавшая в злую воронку российской беды"* и её товарищи по несчастью. Она поёт им *"про дуб и рябину-зазнобушку, / И пёс подзаборный, отдав ей частицу души, / Как волк подвывает"*... У них нет родных, друзей, крыши над головой, еды. Бомжи, *"эту водку зальделую пьющие, / Собак и ворон принимают за братьев своих"*.

И на этом страшном фоне нищеты и отчаяния поистине народным мифом кажется стихотворение о русских деревнях, которые решили *"распахнуть поля, / Как будто крылья Родины большой"*.

И начали деревни хлопотать,
Будить народ,
заснувший во хмелю,
Зерно в живые борозды метать
И вырывать осот и коноплю.
Деревья выбирались из тоски,
Подсолнухи рыжели на глазах,
И забывали водку мужики,
И забивали место в тракторах.
В подглазьях женщин
тёмные круги,
Как стая туч, исчезли навсегда.
И стали в землю уходить враги,
И вместе с ними кончилась беда.
И разливался несказанный свет,
И слухи разлетались вдоль земли,
Как съехались деревни на совет
И Родину Великую спасли.

Скиф притом ещё и острый публицистический поэт. У него довольно много стихотворений, где впрямую названы виновники национальной трагедии, среди которых и бесчувственная жадная власть, и продажные журналисты, и беспринципные дельцы… Но всё же, самый главный изъян современной России – апатия русского человека, его покорность злу и мороку. Именно потому миф о собирательнице-деревне становится едва ли не всеобщим упованием, ибо в нём сконцентрирован образ народного ума, воли и терпеливого труда.

С другой стороны, в стихотворении об инфернальной змее, под покровом тумана пожирающей родную землю, поглощённые тварью мужики вспарывают ей брюхо и, выставив острые вилы, *"как из смердящей реки"*, выходят на Божий свет. В этой аллегории есть что-то от наступательных советских карикатур времён Отечественной войны. Народное чувство, оскорблённое и растоптанное недругами, нуждается в ясном, изобразительно внятном языке. Соединяясь с мифом, этот сюжет преодолевает собственную изначальную одномерность и превращается в народное чаяние, в котором звучит отголосок библейских слов: "...да не преткнёшься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь..." *(Псалом 90/91, читаемый в опасности)*.

В поэзии Владимира Скифа отчётливо выражено природное мужское начало. Причём телесность у него неотделима от воли, решимости, силы. Многие стихи посвящены телесной любви, и в них неуловимо присутствуют скрытые родовые акценты, к нынешнему дню, к сожалению, в литературе встречающиеся крайне редко. Отдавая земле – земное, поэт прозревает любовь небесную, жертвенную, и тогда рождаются строки удивительной прозрачности и вдохновения:

Так много внутреннего света
В твоих глазах, в лице твоём,
Что кажется – сияет это
Живой, огромный водоём.
Сияет снег, сияет небо…
Ты так близка по свету им,
Что я подумал: ну, а мне бы –
Быть отражением твоим.
Белеет инеем ограда,
Зима справляет Рождество,
А ты, как тихая лампада,
Стоишь у сердца моего.

Именно из этой лирической капли вытекает тот океан параллельного, тонкого мира, который сливается в лучших стихотворениях Скифа с реальностью и животворит её как-то "сверхчеловечески".

Лучи звезды, как будто иглы,
Летят, прокалывая мглу,
Вот тихой комнаты достигли,
Как серебро – звенят в углу.

При всей широте поэтического высказывания у Скифа всё более явственно проявляется слово глубокое, сердечно-умное, проницательное – в высшем, творческом толковании этого определения. Теплота и дружеская близость читателю в его стихах не спорят с частым авторским акцентом на особом ремесле поэта. И потому способность увидеть скрытые нити мироздания уже не пугает простого человека.

В грозном устроении Бытия – он не пылинка, гонимая вселенским ветром, но его часть, пусть слабая и своевольная, однако совершенно необходимая. Вот – своего рода личная художественная печать Владимира Скифа.

В его стихотворениях очень много глаголов, которые в пейзажной лирике обладают волшебными свойствами: они оживляют деревья, холмы, небо, облака, солнце. И природа становится похожей на кого-то знакомого, обретает повадки человека – и каждую минуту проживает со своим настроением, совершенно неизъяснимым на человеческом языке: *"в ночь прокралась синева"; "затеплилась листва"; "в сыром лесу жиреет... темнота"; "зреет стволов сосновых череда"; "тумана выросли усы"*. Читатель погружается в книжную страницу и прикасается к Божьему творению, которое из рук в руки передаёт ему поэт. И теперь уже он – соглядатай и гонец, несущий друзьям и близким добрую весть и крепнущую надежду:

Вот на востоке посветлело,
Тьмы отодвинулся оплот.
Заря, как яблоня созрела
И алый выкатила плод.

1917 – взгляд из Латвии

О книге Яниса Урбановича "Как создавали Латвию. 1917"

Совсем недавно обществом "Балтийский форум" опубликована новая книга известного латвийского политика, депутата Сейма Латвии и лидера социал-демократической партии "Согласие" Яниса Урбановича. Название книги – "Как создавали Латвию. 1917" – обращает на себя внимание русского читателя, в первую очередь потому, что отношение к событиям того года уже давно определяет не только политическую ориентацию, но даже само мировоззрение русских людей. Поэтому всякое подкрепленное документально свидетельство того года имеет высочайшую ценность.

Книга Яниса Урбановича посвящена тому событию, которое автор считает центральным и определяющим в истории Латвии. Это состоявшийся 26-27 апреля 1917 года съезд латышей Латгалии ("Первый Латгальский Конгресс"), который, по мнению Урбановича, "стал первым шагом к созданию независимой Латвии" и заложил фундамент "для дальнейшего строительства латвийской государственности".

Автор кратко и точно описывает тогдашнее состояние территорий, ставших впоследствии независимой Латвией – значительные земли на западе оккупированы Германией, фронт проходит недалеко от Риги, наибольшие предпосылки для национального развития наблюдаются в Латгалии, наиболее восточной части Латвии, входящей в состав Витебской губернии Российской империи. Уже в марте 1917 года на фоне революционной эйфории, охватившей все российское общество, начинают действовать сторонники национального самоопределения Латгалии, и при этом сразу формируются два противоположных взгляда на это самоопределение.

Первая точка зрения состояла в необходимости автономии латгальских уездов Витебской губернии и выделении их в отдельную губернию. Её поддерживал и развивал офицер русской армии, писатель и публицист Франсис Кемпс. Противоположная идея заключалась в объединении всех латвийских земель: Латгалии, Лифляндии и Курляндии в единую автономию в составе России, её поддерживал католический священник Франсис Трасунс. О независимости Латвии речь ещё не шла. Янис Урбанович уделяет немало внимания личностям Кемпса и Трасунса, описывает их жизнь, взгляды, рассказывает об их судьбе уже после 1917 года, в том числе и о трагических последних годах жизни Франциса Кемпса, сосланного в 40-х годах в Сибирь. Автором показана предопределенность событий съезда в Резекне, где верх одержали сторонники Франциса Трасунса, а также то, что объективно обе соперничавшие политические группы вели к одному – к независимой Латвии, пусть даже вначале и не было таких заявлений.

Особую ценность книге придает обширный документальный материал: фотокопии важнейших документов, в том числе резолюции Первого Латгальского Конгресса, письма Временному правительству от Латгальского временного земского совета, возглавляемого Франсисом Трасунсом, многочисленные фотографии участников событий.

Внимания заслуживает также отношение Яниса Урбановича к событию, ставшему отправным пунктом всех потрясений 1917 года, а именно к отречению Николая II. Кратко, точно и последовательно рассмотрев факты, автор приходит к тому, "что невольно напрашивается вывод, что на самом деле в России произошел государственный переворот, которому пытались придать видимость законности". Легитимность образования независимой Латвии, таким образом, может рассматриваться лишь в контексте происходивших событий – незаконности государственного переворота в феврале 1917 года, некомпетентности и слабости Временного правительства, нарастающей агрессии со стороны Германии, наконец, утраты власти Временным правительством. В этих условиях Латвия могла сохраниться как этнокультурная общность, лишь став независимым государством. Аспекты же государственного строительства в Латвии столетней давности особо важны для Яниса Урбановича, современного политика, ищущего пути для Латвии нынешней.

А для нас, русских, это особый урок того, как важно знание и понимание проблем национальных меньшинств в многонациональном государстве.

Никита БРАГИН

Поэты, опаленные войной

Сады и вино Евгения ВИНОКУРОВА

Гамлет, проходящий веками, укоренён был на многих сценах, и импровизированная – во время Второй мировой – едва ли бы чем-то смутила его:

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал.

Конкретика стихотворения выявлена той вещностью предметов, какие врезаются в память с жёсткой чёткостью; и то, что с Гамлетом-ефрейтором солдаты мёрзли и запросто сидели у костра, сближает реальность шекспировских высот с трагедийными изломами яви, среди которых война – наиболее страшный.

Стих Винокурова всегда зрим и вещен, он не уходит в бездны метафизики, давая оную метафизику проступающей через будничность явлений и вещей, какая бы она ни была.

Есть романтическая нота, влекущая пишущих юнцов выше и выше, превращающая иных из них в поэтов, чью несомненную подлинность высветляет время:

Где книжные манящие развалы,
где в тесноте лишь боком можно стать,
мы, книжники, юнцы, провинциалы,
поэмы будем выспренне читать.

И есть пласты овеществлённого кошмара: вытекающие глаза раненого – может ли быть большее наслоение жути?

Проза военного труда становится кромешной поэзией, в которой нет отчаяния, но – сознание своей правоты, ибо дорога, сколь бы мучительна она ни была, ведёт только к победе:

Взрыв. И наземь. Навзничь. Руки врозь. И
Он привстал на колено, губы грызя.
И размазал по лицу не слёзы,
А вытекшие глаза.

Поезд ворвётся в послевоенную жизнь, помчит дальше и дальше, захватывая всё новые пейзажи, виды и построения; и будут обогащаться стихи, прирастая новыми смыслами, будут распускаться сады Винокурова, где поиск истины отольётся в чеканные строки одноимённого стихотворения.

Грани юдоли Юрия ГРУНИНА

Обширно поле военной лирики, густо засеяно, но всходы-шедевры не столь уж многочисленны, и когда входишь в то или иное стихотворение Грунина, видишь драгоценные краски таких всходов:

Тишина перед боем. Безлюдно.
И такая широкая ночь.
С кем-нибудь разговаривать трудно.
А с собой оставаться невмочь.

Компактная жёсткость стихов передаёт то, что не испытать последующим поколениям, то, что необходимо знать им.

Выйти в бой – это очень непросто.
Чувство дыбится, лезет горой.
Я читал много раз про геройство.
А каким он бывает, герой?

Алмазом прорезанные строки, исключающие какую бы то ни было игру, сверкают, приравнивая горе к шедевру, и подчёркивая разницу между ними.

...Ныне, когда мы познали, что значит бессовестное время, стихи про совесть – как дерзновение вообще, и читая стихотворение Грунина 1970 года, лишний раз убеждаешься, сколь многое потеряли в бездумной и безумной гонке своей – мы, люди:

И приходит она в час, когда я ложусь,
чтоб со мною томительно ссориться –
та, которой горжусь, та, которой стыжусь,
та, что раньше звалась моей совестью.

Александр БАЛТИН

Здесь – "та, что раньше звалась моей совестью" – воспринимается провидчески, если не провиденциально, хотя... кто же поверит, что небо благословит бессовестное время?

Крепко написано, густо... Банальность таковых определений, тем не менее, как нельзя лучше подходит к грунинским стихам – щедрые на откровения, богатые мастерством, каноны какого сегодня стёрты, когда вовсе не забыты.

Метафизика разворачивает панораму одной строкой: *"Мы – муравьёв миры, мы так устали…"*. А следующее дальше:

Нам, как в одном яйце белок с желтком –
зловещий Гитлер и зловещий Сталин
мерещились в смешении таком…

Страшный виток лабиринта, которым заставили идти многих, какой сгубил мириады.

Богата палитра Грунина, многокрасочно играют его стихи, суля читателю обогащение души и точный настрой ума – на историческое и человеческое постижение яви.

Штольни глубин Аркадия ШТЕЙНБЕРГА

Кроме женщин есть еще на свете поезда,
Кроме денег есть еще на свете соловьи.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Не оставив за собой ни друга, ни семьи.

Так, на уровне мечты, декларируется желание, не декорированное ничем – ни попыткой приукрасить реальность, ни потугами очернить её.

Много переживший и много знающий о жизни Аркадий Штейнберг выдохнул – как хорошо ехать, уехать, даже без шанса возвращения, раз кроме денег (как подходит к нашему времени!) есть и соловьи. Подобная декларация свидетельствовала бы об усталости от жизни – когда бы не лучились стихи совершенством формы и лёгкостью дыхания.

"Волчья облава" – очерченный круг красоты и страха, ибо пейзаж в финале переходит в жуть волчьей охоты:

Невысокие свищут кустарники. Иней
Притворяется прочным. Томпаковый бор
Над шестнадцатиградусной
мерзлой пустыней
Лапы вытянул, словно камчатский бобёр.

Люди охотятся на людей страшнее, чем на волков, но и гоньба последних есть часть всеобщей охоты, фрагмент глобальной картины взаимопожирания, которую не отменить, не переделать стихом – даже полнозвучным, данным в разнообразие красок и эмоций:

Мы расстреливали неподвижную стаю.
Тлела хвоя и щелкали пули, пока
Мне почудилось – я на дыбы вырастаю,
И турецкие ребра разъяли бока.
Я услышал глазами такой небывалый
Неестественный вкус тишины, кислоту
Асептических льдин, логовины, увалы
И дыханье, густеющее на лету.

И возможность "слышать глазами" порою страшнее осознания своего поэтического дара – тяжёлого креста, гнущего к постоянной работе на разрыв своего внутреннего устройства.

Тема неизвестного солдата трагична по определению, но Штейнберг находит в ней столько дополнительных оттенков трагизма, что захватывает дух:

Но я не забыл содроганье штыка,
Который меня опрокинул на глину.
Я помню артикул и номер полка,
Я знаю, как надо блюсти дисциплину.

Ночь тяжела, сколько бы ни дарила она знамений и звёзд, ночь без дна, но она минует, оставшись в сердце поэта точкой стиха:

Которая по счету миновала
Земная ночь, опять оставив мне
Могильный холмик пепла у привала
Да пепел звезд в студеной вышине.

О! точки бывают огромны, как могуч поэтический свод, возведённый Аркадием Штейнбергом.

Палладин из Петербурга

Благородство речи, возвышенная простота, высокая ясность мысли – вот свойства, которыми можно охарактеризовать поэзию Вадима Шефнера – этого палладина из Петербурга:

А в старом парке листья жгут,
Он в сизой дымке весь.
Там листья жгут и счастья ждут,
Как будто счастье есть.

Грусть естественна, как сожжение листьев, как дыхание, но грусть эта – светла, а когда её касается поэзия – могущественна.

Шефнер рисует словом, и не просто графика, хотя и она тоже даётся сполна, но и словесная живопись завораживает.

И медленно уставив изумруды
Бездумных глаз, недвижных, как всегда,
Лягушки, словно маленькие Будды,
На бревнышках сидели у пруда.

Всё становится мудростью, прорастая в мировосприятие поэта, и недаром в одном из последних его стихотворений говорится: *"Лишь смерть бессмертно молода"*.

Стихи тяготеют к бессмертию, запрещённому для плотского человека; вертикальные сгустки слов на бумаге лучат энергию, необходимую для других, мающихся жизнью, или наслаждающихся ею и, грандиозную панораму представляя собою, вписаны в действительность стихи Вадима Шефнера.

Лестница Семёна ЛИПКИНА

Грандиозность восточных поэм-эпосов, сверкающих каменьями мудрости, переливающихся золотом тайнознанья, переведённого в словесные образы, обогатили сознание Семёна Липкина, давая на русской почве цветовые, великолепные, метафизические результаты:

От Москвы километров отъехали на сто,
И тогда мимо нас,
как-то царственно вкось,
Властелин-вавилонянин
с телом гимнаста,
Пробежал по тропинке породистый лось.
Князь быков,
жрец верховный коровьего стада,
Горбоносый заложник плебея-врага,
От людей не отвёл он бесслезного взгляда,
И как знак звездочёта темнели рога.

Знак звездочёта – знак мудрости, мудрости, идущей из таких потаённых глубин, что только переводчику-расшифровщику древних поэм и доступна.

Как молитвы, рождаются дни,
И одни состоят из тумана,

В тальниках замирают они,
Как вечерняя заумь шамана.
У других голоса – как леса,
Переполненные соловьями,
И у них небеса – туеса,
Туеса с голубыми краями.

Молитва всеобщности, пусть не осознаваемой большинством, рождает человеческие дни – ибо общечеловеческое дело, длящееся так долго, находится, возможно, ещё только в начале; отсюда – такое осознание разницы во внутренней наполненности дней, в их смысловом окрасе.

Тема войны, столь густо представленная количественно, качественно довольно ограничена, и "Техник-интендант" Семёна Липкина – одна из точнейших страниц этой сверхтемы.

Густо льётся земная жизнь, переполняя незримые чаши вечности конкретикой красок и форм:

...Удивительно белый хлеб в Краснодаре,
Он не только белый, он легкий и свежий!
На колхозном базаре всего так много,
Что тебе ни к чему талоны коменданта:
Адыгейские ряженки и сыры,
Сухофрукты в сапетках, в бутылях вино
Местной давки – дешевое, озорное
И чуть мутное, цвета казачьей сабли.
На столах оцинкованных – светлое сало.
И гусиные потроха, и арбузы,
Что хозяйки зимой замочили к весне,
К нашей первой военной весне.

Ещё гуще будет звучать война – стихая эхом, теряясь в громадине грядущего мира…

Да не потеряются в нём лучшие стихи!

Впрочем, если дни рождаются, как молитвы, так и будет.

Поэт вести Даниил АНДРЕЕВ

"Роза мира" – беспрецедентностью своей в русской культуре затмила замечательный свод стихов Андреева: выдающийся поэт будто добровольно уступил место пророку. Сияющий массив "Розы мира" – тем не менее – содержит немало горького, и в частности то, что люди, почитая как неудобное им, предпочитают не замечать; кто из богатых слышит – "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко"? – а ведь знают все… Увы, так же плохо мы слышим и стихи. Стих Андреева – блоковски музыкальный, хотя, конечно, совершенно индивидуальный – отголосками несёт те же истины, что проведены через "Розу мира"; но художественная система стихов доступнее, вероятно, сложных построений прозаического трактата; и, тем не менее, стихи Андреева во многом – тропы к блистающей цитадели мудрости, в более узком пониманье – своеобразные ходы к монолиту "Розы мира" (чья линия в современном мире продолжена исследованьем замечательного учёного Александра Зеличенко "Свет жизни").

Стих Андреева щедр на свет – ласковый и нежный; световые потоки изливаются в душу читающего, меняя её, наставляя светом. Дар вестничества позволил Андрееву создать новую картину мировиденья – точно соткать восточный, переливающийся многими цветами символов, ковёр, где каждая нить – осмысленна, а суммарный эффект – предстаёт мистическим портретом космоса. Символ звука Андреевских стихов – огонь, но огонь не слепящий, а благостный: тут и лампада, в чьей неугасимости не стоит сомневаться, и костёр на дальнем берегу – костёр, к свету которого так надо выйти…

Духовная яшма Александра ЯШИНА

В стихотворении-молитве просить у Бога лоскуток шагреневой кожи – дерзновение и счастье поэта, отчаянье и высота детскости:

...Подари, боже,
Ещё лоскуток
Шагреневой кожи.

И дальше – каталогом – с плотностью перечисления: то, что необходимо, истинно необходимо: не дворцы же…

Высота не может не быть красива, но есть особенная красота высоты – связанная с тишиной своего пейзажа, своих мест:

Волжские в дымке степной места,
Желто-зеленые редкие травы –
Очень красивая высота
В двух километрах от переправы.

Слишком явная явь вливается в стихи Яшина; она играет соком нежности и строгостью спокойного движения.

К вам иду с верою,
В вашу мощь уверовав…
Не оскорблю ни одного дерева –
Ни на одном не повешусь.
Милые мои вязы...

Братья-вязы, каких не оскорбит поэт, в коре которых можно прочитать историю страны, внемлют стихам, как не умеют ныне люди…

Стихам, какие разоряет ветер современности, равнодушие, ощущение ненужности их в реальном пространстве, стихам, вписанным в золотые кольца непредставляемой вечности.